

II. ВЫСТАВКА ФЕОДОСИЯ ГУМЕНЮКА.

На протяжении весны в разных местах Ленинграда частным образом экспонировались работы днепропетровского художника Феодосия Гуменюка. Еще сравнительно недавно о Гуменюке можно было говорить как о ленинградском художнике украинского происхождения. На разного рода выставках (Д/К Газа, "Невский", частные) появлялись его работы как привычная часть ленинградского художественного круга. Но и после того, как художник был вынужден покинуть невские берега и вернуться на днепровские, работы его продолжают появляться на стенах наших частных выставок.

По своим явно выраженным устремлениям художник относит себя к тем, кто пытается восстановить утраченное национальное. Зритель помнит его полотна в духе наивных росписей, где присутствовал и неприменный казак Мамай, шаровари, плахты, хустки, воли, пейзажные идиллии типа тех, которые в предельно очищенном виде слышались Тарасу Шевченко ("Садок вишневый коло хати...") в казахских песках... В то же время у этого художника были работы и в ином ключе. Помнятся напряженные городские пейзажи. Признаться, я всегда с недоумением смотрел на этнографические воспоминания Гуменюка, видя в них изрядную кремовость и даже черты некоей туристичности, причем зачастую на уровне самом поверхностном. Зато там, где художник ограничивается не литературными, но чисто живописными задачами, там впечатление меняется. В скромном натюрморте с кувшинами и маками, в выборе цветов, в самом художественном мышлении, наконец, проявляется именно украинский живописец, в том своеобразии, которое невозможно имитировать художнику иной национальной судьбы. /Вспоминается эпизод из истории 2-й мировой войны. Английский разведчик, натасканный "под француза", попадает на первом же перекрестке оккупированной Франции: постовой-ахан обращает внимание на бессознательный взгляд нешехода- вначале направо и лишь затем налево.../. Повидимому, художник может оставаться национальным

лишь когда он национален бессознательно. Причесанный Городецким Лель-Бесени менее национален, чем тот же Бесени в тройке и цилиндре, наедине с отчаянной русской тоской на брусчатке Петрограда.

За последнее время — судя, по крайней мере, по при-
сланным работам, — в творчестве Гуменика наметился сдвиг
в сторону реминисценций Михаила Шемякина. На украинский
миф накладывается миф петербургский. Как ни покажется
странным, влияние Шемякина в значительной мере усиливает-
ся (и это видно по творчеству многих молодых) после его
отъезда. В искусстве известны случаи, когда усиление опос-
редованной реальности или наложение нескольких ведет к
созданию сверхреальности. Но это в редчайших резонансных
ситуациях. Здесь же, на этом новом витке в творчестве Гу-
меника, похоже, мы сталкиваемся со случаем более распро-
страненным и закономерным.

Е. ПОРТРЕТ ГЕННАДИЕВА В ОКРУЖЕНИИ ГЕННАДИЕВЫХ.

В начале апреля во вновь отстроенном Доме молодежи
открылась первая выставка. Первозванным художником ока-
зался Андрей Геннадиев. Более сорока работ: живопись и
графика в разных техниках... Тот, кто видел его работы
здесь, вряд ли обнаружит какого-то "непохожего" Геннадиева.
Автопортреты с кинематографической разверткой в ракурсе,
в рыцарских одеяниях или в одедах "осемнадцатого" столе-
тия. Дамы и кавалеры в глянцевых кафтанах, в треуголь-
ных шляпах, несущих, как у Тышлера, городские построе-
ния. Мифологические персонажи в окружении атрибутов: Луны
и Союнца, Льва, Единорога. Зодиакальная серия. Мальтий-
ские кресты со знаками Рыбы и Агнца. Листы, сделанные
почти в духе народного русского лубка, который временами
причудливо сплетается с традициями немецкой средневековой
гравюры. Серия больших листов на мотивы гоголевского "Но-
са"...

Выставка вызывает, как принято говорить, "неодноз-

начное" впечатление. В огромном комплексе современной функциональной архитектуры, среди лабиринта лестниц, коридоров, залов с летними садами и балконами — запряталась сравнительно небольшая комната, увешанная работами, которые не имеют никаких соприкосновений с окружающими вещами. Иногда из лабиринтов коридоров, вдоль которых просачиваются агрессивные звуки джаз-бэнда из ближайшего "молодежного" бара, забредет парочка, с недоумением, потом с любопытством осмотрится. Элегантно-строгий, высокий, скорее даже длинный — как Дон Кикот — хозяин выставки сидит в углу, неподалеку книга отзывов и магнитофон. Включит запись классической или лютневой музыки, блик заходящего солнца чуть сдвинет с места фигурки на холстах, взывающих к вному Санкт-Петербургу и угасающей Венеции. Смущенная парочка полистает книгу отзывов, преисполнится еще большего уважения и, стараясь ступать как можно тише, выскользнет в коридор. На раскрывшейся двери порвется синиона бас-гитары, перебив на секунду сосульный перезвон клавиесина...

Я тоже полистал книгу отзывов, хотел было добавить к ней и свой восхищенный отзыв, да раздумал. Что значат мои несколько медалей по сравнению с цехинами и дублонами зрительских восторгов, нахлывающих в эту виллу художника!

Правятся ли мне безоговорочно работы Геннадиева? Вряд ли я смог бы так сказать наедине с собой и его вещами. Вещи художника как бы утверждают, что они вне оценок. Они сами по себе — ты, зритель, сам по себе. И то, что мы существуем одновременно — не более, чем совпадение. Во времени и в пространстве. Что геннадиевским героям до моей Гекубы, что их Гекуба мне? Меня не может не возволновать выисканность линий и красок на холстах и гравюрах: нежных и тонких на холстах, звучных — как пурпурный инициал в средневековой рукописи — на геннадиевых гравюрах. Но на мой вкус это искусство кажется чрезмерно хрупким, ему, может быть, не хватает чуточку варварской силы, чтобы противостоять миру и быть в этом мире как в своем собственном.

Сталкиваясь с вещами Геннадиева, приходишь к мысли,

что искусство для этого художника является своеобразным монашеством. Пусть за воротами ^{сбв} аббата хрипкая брань, пылают в огне города и души. Здесь же на полях старые фолианты, со стен смотрят загадочные лики, огонь пылает только под ретортой в тигле... Картина внутреннего монастыря не изменится от того, что часть жизни может входить ежедневно в келью- пиягрины, сырые и убогие, просто случайные люди с соседнего оживленного пути... Но стены обители искусства прочны своей святостью и авторитетом, они сохраняют священное древнее: пергаменты, иконы, резные ларцы с мощами, рецепты мартиров, двухголовых младенцев в золбах и пр. и пр.

Правда, иногда мне видится иное выражение лица художника. Точнее- выражение лиц его персонажей. Ироническое. Вы ведь слышали об этой обители у дороги? Так вот вам, приехавшим в неочищенной свихухе- наперсток томчайшего ликера. И сова, и двухголовый младенец в колбе, и зловещие превращения в реторте. И впечатляющая тяжесть книжных складов. Понять и оценить-времени нет- дорога требует своего- но унести впечатляющее ощущение можно.

И еще одно лицо- может быть и являющееся первым, первоосновой для остальных. В этом лице я вижу искреннее желание быть узлом для рвущейся нити. Отсюда стремление внести- хоть в виде курьеза, игрушки- то, что непрерывно сменяется каждым валом новой и все обновляющейся жизни. Ведь какой-то тусклый вал повторяет первый, и тогда мы говорим: ничто не ново под Луной, а новое- появилось всего лишь забытое старое. Художник отказывается удваивать секундный мир, пытается привнести в него Вечность. Но жизнь обычно распарывается подарком художника по-своему- и, повидимому, так она будет- да и должна - на то она жизнь- по-своему. Инструкции к вещам теряются быстрее, чем сами вещи. В результате происходит обиденный и извечный парадокс. Художник говорит зрителю: "Это - Рыба, это - Лев." Зритель вроде бы послушно повторяет: "это- рыба, это- лев и т.д.". Произнося одни и те же слова, мы понимаем их по-разному. Жизнь должна менять все, в том числе и понятия- вплоть до

противоположности к своему первоначальному смыслу. /Подобно тому, как это произошло со словами: авантюрист, пена-гог, калдей и др./

Мне думается, что Геннадиев и сам понимает это. Может быть, именно этим объясняются периодические творческие кризисы художника. Характер творчества не может не вступать в противоречие с жизнью. Геннадиев часто пишет себя в пульсирующем ракурсе, многоликом, одновременно застывшем и стремящемся повернуться взглядом за стремительно бегущей мимо жизнью.

Может быть, эта форма экономнее того портрета, который бы я написал сам— если бы был Геннадиевым. Мой портрет был бы сделан в латуровской ^{или} караваджистской манере... Длинный стол в сумрачном помещении с тусклыми сводчатым потолком. Стол освещен ослепляющей свечей. За столом в разных ракурсах: со спины, в фас, в профиль и три четверти— Геннадиевы. Их много— рыцарь, монах, блудный сын; Геннадиев-Герман, склонившийся над упавшей ему дамой пик; рядом— Геннадиев-битник, обнимающий случайную "червовую даму", опираясь на бас-гитару; Геннадиев— ший неистреп с молодой де ганды; Геннадиев— по делововски пьющий на окне из бутылки; наконец, Геннадиев— подобно герою Ватто, наблюдающий из угла холста: незаметно, но твердо, с влюбленностью, жалостью, с гневом и с надеждой— на всех других геннадиевых... И вот этот-то Геннадиев на моем полотне был бы единственно поцелованным и живым...

Р. Скиф